

III.—КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Асмус В. Рец.: Г. Г. Шпет Внутренняя форма слова // Вестник коммунистической академии. 1927, № 23. С. 250-265

ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА ВИЛЬГЕЛЬМА ГУМБОЛЬДТА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ проф. Г. Г. ШПЕТА¹

Язык есть условие и орудие, причина и следствие общечеловечности.
(Антонио Лабриола).

I

В гуманитарных науках современности проблемы теоретического языкознания занимают всё более видное место. Рост языкознания сказывается не только в накоплении специальных работ, посвященных *эмпирическому языкознанию*, но также—и это наиболее замечательно—в повороте *принципиального* внимания *всей науки и всей философии* к языку. Язык—одна из *фундаментальнейших* тем и задач современной научной и философской мысли. Современная *логика, поэтика, эстетика* выдвигают—каждая внутри своей области, со своей «точки зрения»—ряд вопросов—и притом вопросов *капитальных*,—которые могут быть удовлетворительно разрешены только под условием *принципиального анализа* структуры языка. Так, некоторые логики видят в *логике* не что иное, как *науку о слове*, т. е. методологическое учение об общих и специальных принципах выражения, изложения и доказательства. Так, в современной *теории искусства* развивается направление, которое определяет эстетику, как «общую лингвистику» (Карл Фосслер, Бенедетто Кроче). Так, в русской науке идущая от Потебни традиция возводит к лингвистике *поэтику*.

Утверждение мысли, что в феномене языка мы имеем источник тем, которые должны быть признаны капитальными для всех «наук о духе», имеет результатом новый «пердел» научных задач. С одной стороны, сама лингвистика стремится к осознанию теоретических принципов собственной работы. Уже старая, неудачная в своем эклектизме, работа Пауля «Principien der Sprachgeschichte» знаменовала некий утешительный поворот. Всё же в ней шла речь о «принципах». С другой стороны, философия стремится включить тему языка в число своих важнейших тем.

Объем тематики, обязательной для современного «философа», заметно отягчается включением в него ряда проблем, коренящихся в явлениях языка. Даже индивидуальная история научного и литературного «стажа» современных философов отражает этот процесс: в различных странах представители различных

¹ Густав Шпет. «Внутренняя форма слова (Этюды и вариации на темы Гумбольдта)». Изд. Государственной Академии Художественных Наук. М. 1927, стр. 219, цена 2 руб. 50 коп.

философских течений и позиций, начавшие с проблем онтологии, логики, последовательно перешли затем к проблемам философии языка, чтобы прочно в них укорениться. Логике этого процесса подчиняются мыслители самого различного толка и калибра: старый Вундт завершает свою многолетнюю философскую работу объемистой «Психологией народов», в которой анализу языка отводится почетное место; Бенедетто Кроче в основу своей главной книги кладет эстетику, понятую, однако, в качестве «общей лингвистики» (*linguistica generale*); у нас в России последнее по времени звено в этом ряду—рецензируемое исследование проф. Г. Г. Шпета «Внутренняя форма слова».

Книга проф. Г. Г. Шпета не есть историческая монография обычного типа. Согласно собственным разъяснениям проф. Г. Г. Шпета, целью его не были ни биография Гумбольдта, ни историко-социологическое объяснение материальных и духовных условий выращивания Гумбольдта эпохи (стр. 31). Целевую задачу книги проф. Г. Г. Шпета составляет «уразумение смысла высказанных Гумбольдтом идей и диалектическое истолкование их, сперва в общем идейном контексте его времени», а затем и «последующего времени, вплоть до определения места его идей в современном научно-философском мышлении» (стр. 31). Итак, задача книги проф. Г. Г. Шпета—*интерпретация*. Предметом интерпретации служит в ней учение Гумбольдта о внутренней форме слова в том виде, в каком оно изложено в основном *посмертном* труде Гумбольдта «О различии в строении человеческих языков и о его влиянии на духовное развитие человечества»¹.

Целесообразность интерпретирующего анализа теоретических идей Гумбольдта неоспорима. Несмотря на то, что за Гумбольдтом прочно установилась репутация основоположника всего новейшего языкознания, идейное содержание его работ до настоящего времени использовано далеко не в полной мере. Высокий философский стиль исследований Гумбольдта оказался не по плечу языковедам XIX века с их узким эмпиризмом. С другой стороны, сам Гумбольдт мало способствовал укоренению собственных идей. «Изложение у Гумбольдта—трудное, спутанное и даже противоречивое» (стр. 7). Названное сочинение Г.—основное по своему теоретическому значению—было издано не самим автором, но его братом, и было лишено «последней авторской редакционной заботы» (стр. 7).

Целевой задачей книги проф. Г. Г. Шпета определяется её метод. В свете основной—интерпретативной—задачи для проф. Г. Г. Шпета существенным оказались «не *genesis* идей и не место их в связи причин и следствий, а *смысл* их, место их в *логической* системе идей и их *диалектическая функция*» (стр. 31 курсив мой. В. А.). Задачи самой интерпретации проф. Г. Г. Шпет понимает весьма широко: «Выводы интерпретации—указывает он—здесь могут и должны идти дальше того, что *explicite* заявлено самим автором, они могут даже вступать в видимое противоречие с открытыми заявлениями автора, но их оценка и критика может и должна иметь в виду только одно: *признание внутренней плодотворности или пустоты самих идей и чисто логическую возможность интерпретативных видов*» (стр. 31, курсив мой. В. А.)

¹ Wilhelm v. Humboldt—«Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts», 1836. Есть русск. перевод П. Биллярского. (Журн. Мин. Нар. Просв., гг. 1858—1859 и отдельно).

Интерпретативный характер исследования сообщает книге проф. Г. Г. Шпета большой принципиальный теоретический интерес. И действительно: взгляды Гумбольдта служат проф. Г. Г. Шпету не только предметом анализа, но также и предметом критики, не только поводом для интерпретации, но также—исходным пунктом для сообщения и обстоятельной аргументации его собственных положительных воззрений. Все эти особенности делают книгу проф. Г. Г. Шпета интересным теоретическим произведением. Состав теоретических утверждений самого автора легко может быть выделен из основного корпуса интерпретирующих изложений и пояснений. Черта, отделяющая взгляды проф. Г. Г. Шпета от взглядов Гумбольдта, проведена совершенно отчетливо. Пограничная линия между ними обозначена обильными критическими анализами построений Гумбольдта, обличением имманентных противоречий и далеко идущими дополнениями и экскурсами. Поэтому книга—несмотря на связанность автора материалом—представляет стройное, согласованное в пропорциях частей теоретическое произведение. Тем больший интерес представляет для нас вопрос о том направлении, в котором идет у проф. Г. Г. Шпета интерпретация теории Гумбольдта.

Вместе с Гумбольдтом проф. Г. Г. Шпет видит в языке основное явление внутри той сложной системы *надстроек*, которую мы, в неотчетливом, но правильном сознании её единства, искони именуем *культурой*. Язык есть *прототип, образец и аналог* всякого культурного и социального становления. «Такие обнаружения культурного сознания, как искусство, наука, право и т. д.,—не новые принципы, а модификации и формы единого культурного сознания, имеющие в языке архетип и начало. *Философия языка есть в этом смысле принципиальная основа философии культуры*» (стр. 37, курсив мой. В. А.).

В строении и формах языкового сознания получает наиболее концентрированное, наиболее типическое выражение диалектика культурного становления. Языковое сознание в форме слова имеет целью выражение действительного предмета. Но действительность, как такая, в её сущей и реализуемой полноте, составляет предмет несравненно более полный, чем самый адекватный коррелят языкового сознания. В состав языкового «воспроизведения» действительности не могут войти многие, ускользающие от языкового сознания, стихии. В сравнении со своим коррелятом в языковом сознании действительность обладает преимущественно безусловной конкретностью. Даже в тех случаях, когда слово обозначает *чувственно-воспринимаемый предмет*, оно есть не эквивалент чувственного предмета, а *постижение его в звуковом образовании в определенный момент словозобретения*. В этом—источник многообразия выражений для одного предмета. Так, в санскрите «слон» называется то «дважды пьющим», то «двузубым», то «одноруким» и т. д. *Предмет* здесь подразумевается один, но *понятий* обозначается несколько. Язык воспроизводит не *предметы*, а *понятия* о них, самостоятельно образованные в языковом порождении (стр. 22). Поэтому словопонятие *принципиально никогда не может быть всецело адекватным своему предмету*. Мыслимое в понятии предметное содержание «никогда не есть все содержание предмета, а есть содержание, целесообразно и планомерно подобранное в соответствии с намерением и замыслом сообщения и выражения» (стр. 98). В словесном выражении содержание подразумеваемого под понятием предмета раскрывается всегда только с большей или меньшей степенью исчерпываемости, и до конца раскрывается лишь в некотором идеально-мыслимом пределе (стр. 82).

И всё же, будучи неустранимой до конца, неполнота предмета языкового сознания—крайне своеобразна. Будучи *полным*, слово имеет тенденцию, хотя бы потенциально, покрывать *все* объективное содержание подразумеваемого под ним предмета. Логическое выражение *не соответствует* своему предмету, ибо оно осуществляется не иначе, как воплощенное в формах *слова*, с его принципиальным несоответствием предметному корреляту, и в то же время оно—*подлинно ему соответствует*, ибо, направленные на предмет, логические акты *всегда объективны* (стр. 96—97). Таким образом, в соотношении между предметом и постигающей деятельностью направленного на предмет языкового сознания существует противоречие. Противоречие это—не тупик, но подлинный *диалектический* ключ познания. «Противоречие, которое открывается между заданною полнотою конкретного предмета и наличною неполнотою его для каждого данного момента, разрешается его собственным становлением, самим путем, непрерывным осуществлением» (стр. 38). Культура, как предмет языкового сознания, необходимо несет в себе указанное противоречие, но «в ней же самой, в собственном её движении, в её жизни и истории, лежит и преодоление противоречия» (стр. 38). Метод движения сознания предписывается самим предметом. Метод этот есть метод *диалектический*: «языковое сознание, по предположению своего предмета, есть сознание диалектическое» (стр. 38, курсив проф. Г. Г. Шпета).

Установление *диалектической* природы языкового сознания, соответствующего диалектике культурного предмета, имеет решающее значение для *всей теории культуры*, ибо в составе культуры язык выполняет совершенно особую и—по своему значению—совершенно исключительную роль. Характер этой роли станет нам ясен, как только мы учтем основную формальную особенность культурного сознания.

Всякая социальная «вещь», всякое культурное явление, учреждение или становление, в своей *формальной* структуре, представляет для направленного на него культурного сознания не просто «природную» вещь, но некоторый *знак*, требующий истолкования и уразумения. Возьмем, для примера, *историю*. Предмет исторического познания нигде не дан прямо и непосредственно, как он может быть дан чувственному восприятию. Всё, что дано истории, есть только *знак*. Раскрытие этого знака—задача истории. Так назыв. «документы» и «памятники», с которыми имеет дело историк, *суть знаки*, требующие прежде всего уразумения некоторых действий. В свою очередь действия эти сами *суть знаки*, прикрывающие некоторые движущие историей силы, которые опять-таки должны быть постигнуты с помощью уразумения¹. В этом—формальном—смысле история есть наука *интерпретативная*. К своему предмету она идет путем филологической, технической, исторической и т. д. интерпретации, последовательно *раскрывая смысл знаков*, в виде которых только и предстают пред ней её собственные объекты. Всё, что сказано здесь об истории, можно было бы—*mutatis mutandis*—применить к другим видам культурного становления. *Вот эта-то интерпретация культурно-социальных вещей, которые не просто «улавливаются» или «воспринимаются» нами, но всюду и всегда предстают нам, как знаки, требующие соответствующего истолкования и уразумения, и превращают язык в анализ и прототип всех феноменов культуры*. Ибо, рассматриваемое в своей *формальной* структуре, слово языка есть единственный совершенно

¹ Г. Шпет.—«История как проблема логики», т. I, стр. 23.

всеобщий знак, которым может быть заменен всякий другой знак! Поэтому формальные признаки слова, как культурно-социальной вещи, суть существенные признаки всякой культурно-социальной вещи. «Слово, со стороны своих формальных качеств, есть такой член в общем культурном сознании, с которым другие его члены—гомологичны» (стр. 140, курсив проф. Г. Г. Шпета). Какие бы модификации ни вносились в структуру социальной вещи её содержанием и функциями, формально она всегда—гомологична словесной структуре, подобно тому, как признаются гомологичными руки, плавники и крылья позвоночных (стр. 140—141).

Обычному сознанию язык представляется только, как средство культурного общения, и язык подлинно есть такое средство. Но, будучи средством, язык вместе с тем есть и условие этого общения. Более того. Язык есть во-первых—условие и лишь во-вторых—средство. «Язык есть образующий орган мысли» (стр. 15). Благодаря звуку речи интеллектуальная деятельность становится внешней и чувственно воспринимаемой. «Без связи с звуком речи мышление не могло бы достигнуть отчетливости и представление не могло бы стать понятием» (стр. 15). Сама предметность—эта существеннейшая характеристика сознания—находит в языке условие своего уразумления: «Как невозможно без языка понятие, так не может быть без него для души никакого предмета; даже внешние предметы получают для нее свою полную существенность лишь благодаря посредству языка» (стр. 16). В этом смысле можно сказать, что то, что мы называем «духом», не могло бы для нас существовать, если бы не было языка: «язык есть такая форма воплощения духа и идеи, без существования которой для нас не было бы ни духа, ни идеи». (стр. 33). Но, признавая, таким образом, в языке «первую необходимую ступень в примитивном образовании человеческого рода», Гумбольдт в то же время со всей энергией настаивает на том, что язык и интеллектуальность не существуют обособленно друг от друга. «Язык и дух идут вперед не друг за другом и не друг обособленно от друга, но составляют безусловно и нераздельно одно действие интеллектуальной способности. Мы разделяем интеллектуальность и язык, но в действительности такого разделения не существует» (стр. 12). Метафизическому пониманию взаимоотношений между языком и интеллектуальностью, которое либо утверждает, что язык есть причина интеллектуальности, либо, наоборот, что интеллектуальность—причина языка, Гумбольдт противопоставляет свое—конкретно-диалектическое—воззрение. По этому воззрению, духовные особенности и оформление языка народа только в абстракции могут противопоставляться друг другу, как причина и следствие. По сути же они образуют конкретное единство, «ибо интеллектуальность и язык допускают и поддерживают лишь взаимно пригодные формы: «Язык есть как бы внешнее явление духа народов,—их язык есть их дух и их дух есть их язык» (стр. 13).

Нельзя не отметить здесь, что послегумбольдтовское развитие языкознания не смогло удержаться на высоте этого диалектического тезиса Гумбольдта. В знаменитом споре между «грамматикой» и «логикой» обе спорящие стороны проявили односторонность и абстрактность метафизического мышления. Метафизический идеализм упорно и бесплодно держался мысли, что язык есть следствие и продукт самостоятельной силы духа. Ограниченный эмпиризм специалистов-языковедов, напротив, сбивался на теорию о том, что сама мысль есть только продукт и следствие формирующей силы языка. К сожалению,

профессор Г. Г. Шпет не отметил в своей книге, что *марксистская* теоретическая мысль в этом вопросе стояла на верной—диалектической—позиции. Так, Антонио Лабриола, полемизируя с социологическим натурализмом, настаивал на диалектическом характере связи между языком и мыслью и даже шире: между языком и социальностью вообще: «Язык—утверждал Лабриола—является условием и орудием, причиною и следствием общественности»¹.

Признание факта, что в языке мы имеем не только следствие, но также условие и прототип социальности, подрывает основы *натуралистического* подхода к проблеме языка. Непреходящая заслуга Гумбольдта состоит в том, что его учение о внутренних формах речи, частью *explicite*, частью *implicite*, намечают основы для принципиальной критики *лимингвистического натурализма*. Интерпретация основ этой критики и диалектическое развертывание имплицитно заложенных в ней положений составляют ценное качество исследования профессора Г. Г. Шпета.

Лингвистический натурализм является составною частью *вульгарного социологического натурализма*. Говоря коротко, сущность его состоит в убеждении, будто ключ к уразумению структуры языка и его функций в культуре лежит в *генетическом* исследовании происхождения языка по методам *естественных наук*. Целый ряд языковедов потратил не мало времени и энергии, чтобы объяснить рождение языка и развитие его форм из трудовых действий, эмотивных реакций и т. д. И, однако, как бы ни были в частности любопытны и ценны все эти домыслы и гипотезы, в основном они были построены на ложной догматической предпосылке или, вернее, на предрассудке. Корневая ошибка языковедческого натурализма—та же, что и натурализма социологического². Софизм социологического натурализма—вовсе не в его убеждении, что общественные явления могут быть предметом натуралистического изучения. Никто не может отрицать за естествознанием его права включать все «социальное» в общую закономерность природного развития. В физическом строе природы «социальное» не составляет автономной области. Природа химических, биологических и физиологических процессов—всюду одна и та же и ни в какой мере не зависит от того, совершаются ли они в материи животных или людей, в движениях и реакциях личностей или масс. С другой стороны, нет ни одного социального явления, которое, *поскольку оно реализуется в системе физических движений организмов, именуемых людьми*, не могло бы стать предметом натуралистического рассмотрения. Но в этом *поскольку*—вся суть!

Бедна натурализма—в его роковой неспособности понять, что, рассматривая социальные явления как сумму физических, химических, биологических, физиологических и т. д. актов, реакций и рефлексов, натурализм рассматривает их уже не как социальные факты, но лишь, как факты природные, продолжая, в то же время, выдавать результаты своей работы за исчерпывающую характеристику «социального». То, что натурализм в социальных фактах может усмотреть или вычитать, бесспорно, обладает значимостью, но не по отношению к «социальному», как такому. Когда натурализм пытается распространить свои методы, перенести их в сферу изучения социальных явлений, остается непо-

¹ Антонио Лабриола.—«Исторический материализм». Гиз. 1926, стр. 71.

² Нетрудно было бы показать, что социологический натурализм сводится к вульгарному механистическому материализму.

нитным; какую выгоду он имеет ввиду. Для самого натурализма тут нет никакой выгоды; ибо, рассматривая социальные факты, как природные, он не видит в них ничего для себя нового. Для него включение «социального» в сферу изучаемого означает только бессмысленное количественное умножение «иллюстраций», «примеров» все того же «природного». Напротив, с точки зрения социологии, такое распространение—неправомерно, ибо оно не касается—и не может коснуться—самого предмета социологического изучения. Натурализм не может приложить свои методы к изучению социального предмета по той простой причине, что он самого-то предмета, не видит и при помощи своих средств увидеть не может. Генетизму натуралистического рассмотрения социология противопоставляет убеждение в *несводимости, первоначальной данности* «социального», как такого. Не следует только этот тезис понимать абстрактно или в духе метафизического идеализма! «Социальное» не предвечно. Оно, конечно, имеет свою естественную, физическую и биологическую, историю¹. Но эта история: 1) не может быть восстановлена—в существенной части своих звеньев—за отсутствием достаточных данных; 2) даже при условии полной генетической реконструкции не могла бы объяснить *специфику* социального. Социология может найти путь к своему предмету только через уразумение *первичной данности социального* (первичной, повторяю, не в онтологическом, но в методологическом смысле понятия). Не рассуждать об «обществе вообще» и об его воображаемых праотцах и причинах в доисторической биологической жизни людей должна социология, а изучать, анализировать конкретную структуру *известных нам исторических общественных укладов*, твердо помня при этом, что даже наиболее примитивные из известных нам человеческих обществ *заклачат в себе всю сложность и все принципиальное своеобразие*, какие только вообще могут быть найдены в существе социального.

Методологически правомерный социологический *историзм* не имеет ничего общего с натуралистическим *генетизмом*. Социологический историзм метода Маркса и Ленина не есть метод натуралистического генетизма. Тенденции развития капиталистического общества Маркс выводит не из генетических теорий о происхождении общества, но из анализа структуры наличных форм капитализма, какие он имел возможность изучать в Англии и других странах Европы.

Социологический натурализм был опровергнут всем движением научной работы XIX века. Мощные удары ему нанес уже Плеханов; Антонио Лабриола с несравненной тонкостью подвел ему его печальный итог. Критика Лабриола глубоко проникает в самое «сердце» социологического натурализма. «Если мы можем,—писал Лабриола,—при помощи воображения воссоздать человека *ferus primaevus*, строя и комбинируя для этой цели различные догадки, то мы не в состоянии получить о нем знание, основанное на опыте, подобно тому, как мы не можем определить и происхождение того hiatus'a, т.-е. того интервала и перерыва, вследствие которых жизнь человечества отделилась от жизни животных, чтобы начать подниматься затем все выше и выше. Все люди, живущие в настоящее время на поверхности земли, и те, которые жили на ней в прошлом и относительно которых существуют достоверные сведения, находятся и находились уже довольно далеко от того момента, когда жизнь чисто животная для

¹ Сказанным в корне устраняется метафизическая доктрина А. А. Богданова о социально организованном опыте, как основе мира.

них уже прекратилась»¹. Известная общественная жизнь, даже если речь идет о самой элементарной из известных нам форм, отделяет длинным интервалом жизнь человеческую от жизни животной. История,—говорит Лабриола,—т.-е. та часть процесса общего развития человечества, предания и воспоминания о которой зафиксировались в его памяти,—история начинается с момента, когда искусственная почва является обрабатываемой уже более или менее продолжительное время. На искусственной почве, «находящейся на самом краю горизонта известной нам истории, жили, как живут и теперь, не бесформенные массы отдельных индивидов, а организованные группы людей, организация которых заключается в известном распределении между ними обязанностей (т.-е. работы) и в вытекающих отсюда определенных формах сотрудничества и подчинения. Эти отношения, связи и образы жизни не были и не являются результатом закрепления привычек, сложившихся под непосредственным влиянием борьбы за существование»². Там, где люди прогрессируют или регрессируют, и там где они застывают в той форме, которую они оказывались не в состоянии изжить, «нигде и никогда они уже больше не возвращаются к животной жизни и не теряют окончательно своей искусственной среды»³.

Но в то время, как в области истории и социологии натурализм был подвергнут заслуженной критике, в языкознании натуралистический генетизм свил себе прочное гнездо. Причины его длительного давления на лингвистику весьма сложны, и говорить о них в данной связи неуместно. Во всяком случае в числе этих причин немалую роль сыграла узость специальных интересов языковедов, а также соблазн соединиться через эмпиризм историко-сравнительного метода с общим течением эмпирического естествознания. А между тем все скандалнее выше об истории и социологии сохраняет все свое значение и даже приобретает особо внушительную силу по отношению к языку. Генетические теории, пытающиеся «свести» явление языка к происхождению из рефлексов, реакций, эмоций и т. д., строго говоря, лежат вне пределов науки о языке. Язык, каким мы его знаем, точно так же, как и общество, есть продукт исторического развития огромной давности. Даже наиболее примитивные из известных нам языков—языки самых некультурных племен Австралии и Африки, представители которых едва умеют считать до пяти,—суть весьма сложные продукты социальной жизни людей и предполагают в своем прошлом огромный период развития, не поддающийся никакому наблюдению, никакой исторической реконструкции. Между неизвестным нам моментом, вернее — периодом—возникновения языка и между самими древними стадиями наиболее примитивных языков, какие только могут быть восстановлены на основе всех доступных лингвистике методов исторической редукции, зияет hiatus, не меньший того, который, по словам Лабриолы, отделяет последний момент животной жизни человека от древнейших из известных нам исторических состояний общества. В светлое поле научного исторического познания языки вступают—если даже иметь в виду наиболее архаические из всех известных нам и притом в наиболее архаических фазах их развития—не как простая сумма естественных реакций и рефлексов, но как сложнейшее явление, запечатленное всеми признаками социальной вещи

¹ Лабриола.—«Исторический материализм», стр. 70.

² Там же, стр. 71—72 (курсив мой. В. А.).

³ Там же, стр. 72.

составляющее одновременно и продукт, и условие, и следствие, и причину культурного становления. «Ни один лингвист—пишет проф. Альфред Мейе—в настоящее время не может думать, чтобы сравнительная грамматика индо-европейских языков бросала хотя бы малейший свет на первые ступени языка»¹. «Конечно, народности, говорившие на индо-европейском языке, должны были стоять на уровне цивилизации, близком к уровню африканских негров или северо-американских индейцев; но языки негров и индейцев не имеют ничего «первобытного» или «органического». Каждый из говоров этих языков имеет уже сложившуюся форму, и их грамматическая система часто оказывается очень тонкою и сложною»². «То, что мы знаем о развитии языков, показывает, что факты слишком сложны и не допускают догадок»³.

Непререкаемая заслуга проф. Г. Г. Шпета состоит в том, что в своей последней книге он с большой обстоятельностью и убедительностью показал теоретическую несостоятельность натурализма в эстетике и в языковедении. Но именно в силу того, что язык, по собственному же убеждению проф. Г. Г. Шпета, есть преимущественный аналог и прототип всякого культурно-социального бытия,—нам странным и удивительным кажется, что проф. Г. Г. Шпет не упоминает о том философском течении, которое впервые выступило с суровой методологической критикой натурализма в социологии. Течение это—диалектический материализм. Разрушительная критика социологического натурализма была впервые дана Плехановым и Лабриолой.

Исходную точку критики, с какою проф. Г. Г. Шпет обращается против натурализма в языкознании, составляет учение Гумбольдта о посредствующей функции языка в культуре.

«Язык посредствует не только между человеком и мыслимой им действительностью, но также между человеком и человеком, передавая мыслимое от одного к другому в виде и в формах общественной речи» (стр. 41). Как посредник, «язык не есть чистый дух, но он не есть также и природа, телесная или душевная» (стр. 41). В качестве эмпирической социальной вещи, в качестве средства язык должен рассматриваться, как объективированная субъективность и вместе как субъективированная объективность (ср. стр. 178). Язык можно рассматривать «не только как субстанцию, но и как субъект, не только как вещь, как продукт, произведение, но и как производство, как энергию» (стр. 35). Язык есть субъективированная объективность. Один из плодотворнейших постулатов учения Гумбольдта требует, чтобы язык рассматривался «не как мертвый продукт производства, а, скорее, как само производство»... Язык в своей действительной сущности есть нечто, всегда и во всякое мгновение проходящее. Это есть не *ἔργον* (вещь), а *ἐνέργεια* (деятельность), вечно повторяющаяся работа, направленная на то, чтобы сделать артикулированный звук пригодным для выражения мысли. В этом смысле можно сказать, что язык собственно заключается в акте своего действительного порождения (стр. 13). Историческая оценка идеализма, данная Марксом в первом тезисе о Фейербахе, с полным основанием может быть приложена к Гумбольдту. «Подобно тому, как для Гегеля—говорит проф. Г. Г. Шпет—всё сводилось к тому, чтобы истинное понимать не как

¹) А. Мейе.— «Введение в сравнительную грамматику индо-европейских языков», стр. 45.

² Там же, стр. 45.

³ Там же, стр. 45.

субстанцию только, но в такой же мере и как *субъект*, для Гумбольдта было величайшим откровением, что язык есть *энергия*. К этому у него также «всё сводилось» (стр. 35).

Но, будучи субъективированной объективностью, язык есть, в то же время, объективированная субъективность. Носитель языковой деятельности (*энергия* Гумбольдта) есть субъект, но сам субъект, «как социальный субъект, *полностью выражается, объективируется в продуктах своего труда и творчества, во всех актах, которые материально запечатлеваются и только в силу этого социально существуют*» (стр. 195, курсив мой. В. А.). И эта объективация языковой энергии обладающего языком общественного человека заходит так далеко, что по отношению к говорящему язык есть как бы—чуждый объект, независимо от него существующий. «С точки зрения общественной природы языка,—говорит проф. Г. Г. Шпет,—если иметь в виду, как язык дается говорящему на нем поколению, над^о признать, что язык для него, действительно,—чуждый объект, и его действие происходит из чего-то иного, чем то, на что он воздействует. Таким образом, язык имеет своеобразное существование, которое осуществляется в каждом отдельном случае мышления, но которое в своей целостности от этого последнего независимо» (стр. 17, курсив мой. В. А.). В этом аспекте сам субъект, как носитель актов языкового, поэтического, вообще культурного творчества, становится для нас объектом. «Субъекты—говорит проф. Г. Г. Шпет—не что иное, как те же объекты, их особый класс, со своими особыми качествами и свойствами: кто среди что» (стр. 177—178). Субъект есть *sui generis*, специфический объект. Субъект сам актуален лишь в реализации идеи, становящейся вещью—объектом: «без этого воплощения в культурной реальности субъект лишен своих качеств *sui generis* и принимается, как простой объект природы, как задача естественно-научного изучения» (стр. 178)¹.

¹ Центр тяжести аргументации проф. Г. Г. Шпета—в мысли, что субъект есть не просто объект, но объект *специфический*. Действительно, с точки зрения социологии важно не только то, что субъект есть объект. Тезис этот—необходим, но недостаточен. Важно, что объект, именуемый нами субъектом, имеет специфическую структуру, исключающую возможность простого и грубого отождествления его с другими видами объектов. Эта—специфическая—структура субъекта должна быть проанализирована, установлена, выражена в соответствующем описании. Но хотя, таким образом, руководящая идея анализируемого контекста проф. Г. Г. Шпета состоит в подчеркивании *своеобразной* природы социальных объектов, не следует забывать, что учение о субъекте, как о *sui generis* объекте, было впервые разработано *материалистом-идеалистом* Людвигом Фейербахом. Между тем о Фейербахе проф. Г. Г. Шпет совершенно умалчивает! Конечно, учение Фейербаха о субъекте запечатлено недостатками *антропологического натурализма*. Спецификум социального предмета не был ясен Фейербаху. Но—в онтологическом аспекте—формулы Фейербаха, по всей справедливости, должны почитаться *классическими*. И если в данной связи умолчание о Фейербахе может быть объяснено стремлением проф. Г. Г. Шпета отмежеваться от *всего* социологического натурализма, в том числе и от фейербаховского, то это умолчание уже совершенно непонятно в другом месте его книги, где проф. Г. Г. Шпет утверждает, что «субъект должен иметь собственную онтологию» (стр. 178) и что «начало такой онтологии положено Авенариусом»—в его непонятном, и не оцененном, феноменалистически истолкованном учении о «зависимом жизненном ряде» (стр. 176). Оставляя открытым вопросом возможности иной, нефеноменалистической интерпретации Авенариуса, отметим, что начало «онтологии субъекта» было положено не им, но именно Фейербахом.

Но так как объекты, с которыми мы имеем дело в культуре: произведения языка, искусства, научные понятия, всяческие культурные установления и т. д., сами суть продукты деятельности, то отсюда следует, что в социологическом аспекте субъект исследуется не как объект вообще, а как субъект, опосредствующий эти продукты. «Так, с одной стороны, понятие и звук, выступая, как слово и речь, создают между внешним миром и духом нечто от них обоих отличное, и, с другой стороны, благодаря изображенному акту, из отражающегося в человеке мира возникает, между человеком и миром, человека с миром связывающий и мир человеком оплодотворяющий, язык» (стр. 28). В искусстве, знании, языке, культуре субъект культурного творчества, который, как мы видели, есть не что иное, как специфический объект, воздвигает между собой и природой новый мир—социально-культурный и своим действием преобразует себя самого из вещи природной в вещь социальнo-культурную (стр. 178).

С признанием в языке социальнo-культурной вещи, посредствующей между природой и человеком, с одной стороны, и между человеком и человеком, с другой стороны, падают окончательно натуралистические тенденции в языкознании. «Лишь только мы признали—говорит проф. Г. Г. Шпет—самого субъекта, и, следовательно, всё его субъективное, за категорию социальную, само естествознание, в своем значении для нас, претерпевает как бы метаморфозу: чисто чувственное превращается на его глазах в «чувственно-сверхчувственное»¹, и мы заставляем естествознание служить нам совсем по-новому. Биологическое и психофизическое—сами приобретают социальный смысл, и притом величайший социальный смысл. Все акты биологической особи, известные под абстрактными названиями рефлексов, реакций, импульсивных движений, оказываются социальнo-значимыми, как акты социального подражания, симпатии, интонации, жестикуляции, мимики и т. д. Психофизический аппарат превращается в социальнo-культурный знак. Два конца одной цепи: действительности-реальности—соединились» (стр. 188—189).

Мы характеризовали исходную точку зрения проф. Г. Г. Шпета на язык и его функцию в культуре. Подробный разбор и критику интерпретативных выводов по весьма важным вопросам о соотношении логических форм речи и форм эстетических, о «фигуральных» формах и т. д. мы надеемся дать в особой статье. Пока же отметим общее направление, в котором идет у автора интерпретация идей Гумбольдта. В историко-философском смысле эта интерпретация представляет большой интерес. Проф. Г. Г. Шпет показал в своей книге, что в целом вся теоретическая работа Гумбольдта была направлена к *преодолению кантианства*, от которого Гумбольдт сам находился в терминологической зависимости. Гумбольдт пользуется преимущественно философской и психологической терминологией Канта. Но вводит он эту терминологию в свои работы «не как готовые схемы распределения и обработки материала», а скорее «как эвристический прием, как вспомогательный опорный пункт, дающий ему возможность более или менее точно фиксированным термином запечатлеть собственную мысль» (стр. 32). Отсюда—замечательная черта произведений Гумбольдта. В контексте его учения кантовские термины неизбежно *модифицируются*, переходят в противоположность к терминам ортодоксального кантианства.

¹ Здесь проф. Г. Г. Шпет пользуется термином К. Маркса в анализе процесса труда и понятия фетишизма товара (в I томе «Капитала»). Ход мыслей Маркса проф. Г. Г. Шпет воспроизводит на стр. 179.

Конечно, зависимость Гумбольдта от Канта сказалась *не только в усвоении кантовской терминологии*. В целом ряде вопросов Гумбольдт исходит *из той же установки*, что и Кант. Само учение Гумбольдта о внутренней форме слова изложено Гумбольдтом *в духе кантовского концептизма* (стр. 99—100). В своей теории Гумбольдт связан условным *противопоставлением формы и содержания* в кантовском смысле (стр. 86—87). В духе же Канта Гумбольдт полагает, что *языковые категории*, которыми конституируются конкретные смыслы, суть категории *субъективно-предметные* (стр. 43). Но, отметив таким образом зависимость Гумбольдта от Канта, проф. Г. Г. Шпет вместе с тем обстоятельно показал, что 1) там, где влияние Канта на Гумбольдта имело место, влияние это *препятствовало* плодотворному развитию лингвистических теорий Гумбольдта и 2) что, несмотря на известное влияние Канта, мысль Гумбольдта, в целом, *успешно преодолевала* исходные кантовские точки зрения, приходя к новым и действительно плодотворным научным понятиям.

Тормозящее влияние кантовской философии сказалось у Гумбольдта в восприятии *ложной* кантовской проблемы, которая сводится к вопросу о том, как связать «понятие» со «звуком», «чувственное» с «духовным» (стр. 49—50). Вместе с Кантом Гумбольдт видит в области «понятий» область только абстрактно-логическую, концептивную, а не область *конкретного слова* (стр. 44). Отсюда— неверное представление Гумбольдта о том, что мышление, как таковое, имеет *свои логические формы*, отличные от форм языковых (стр. 44). Эта—кантовская по сути—постановка проблемы встречает резкую и справедливую критику в книге проф. Г. Г. Шпета. Софизм предпосылки Канта состоит, как указывает проф. Г. Г. Шпет, в том, что у Канта рассудок с самого начала—глухонемой, бессловесный (слова оторваны от смысла, мышление от чувственности)¹. Ошибка Канта—в том, что он сначала абстрактно отрывает рассудок от чувственности, смысл от слова, а затем уже ищет для них объединяющий момент в чем-то третьем (стр. 136). Кант отрицал наличие актов, объединяющих «логическое» и «наглядное» (стр. 50). В противовес Канту (и в данном случае—Гумбольдту) проф. Г. Г. Шпет указывает, что проблема единства «должна быть *первой*, до всякого разделения» (стр. 136). Именно идея этого единства была «основной заботой послекантовского идеализма Шеллинга и Гегеля», составляя «основное и естественное условие самой возможности диалектики» (стр. 136). И все же, как ни были велики затруднения, какие сам Гумбольдт воздвигал, усваивая кантовские ложные представления, но понятие внутренней формы слова, какое им было выработано, будучи продумано до конца, давало средства радикально покончить с затруднением Канта. И действительно: «внутренние формы» Гумбольдта суть характерные для каждого данного языка и в каждом языке—особые *отношения между языковыми эмпирическими формами слова и его принципиальным смыслом*. Эти отношения образуют постоянный и единообразный принцип в действии языковой энергии и в этом смысле могут быть *уподоблены алгоритмам*, как некоторой совокупности и последовательности приемов и методов, при помощи которых артикулированный звук делается способным к выражению мысли (стр. 60—61). Эти внутренние формы речи суть формы *логические*. Одна из основных идей книги проф. Г. Г. Шпета состоит в отождествлении внутренних форм слова Гумбольдта с логическими формами. *Логическое*—неотъемлемая

¹ Густав Шпет. «Внутр. форма слова», стр. 138.

характеристика слова. Логическое разлито по всей сфере языка и проникает всю его структуру вплоть до самых последних, неразложимых далее элементов. «Примем всерьез положение—говорит проф. Г. Г. Шпет,—что и самый последний, далее неразложимый языковой элемент содержит в себе все то, что содержится в любой развитой форме языка, тогда ясно, что *если в последней мы констатируем органическую наличность логического, оно должно быть и во всяком элементе*» (стр. 45; курсив мой. В. А.).

Это усмотрение тождества внутренних форм слова с формами логическими надо приветствовать. Оно совершенно устраняет ложные кантовские проблемы, основанные на антидиалектическом, абстрактном противопоставлении «рассудка» «чувственности». Оно в корне разрушает концептизм кантовского учения о «чистых» формах.

Логические формы—как концептивные формы—плод дурной абстракции. Как «чистые» формы, они отвлечены от собственного содержания. «В этом «чистом» виде—говорит проф. Г. Г. Шпет—они, строго говоря, и не логические, а только логистические,—и наука правильно отличает теперь логику от логики»¹. Поэтому настоящие логические формы должны мыслиться лежащими между *морфемами* слова, как формами называемой вещи, и между формами ее подразумеваемого *предметного* содержания. Они сами конкретны².

В свете этого воззрения очевидна несостоятельность кантовской проблемы. Кант вопрошает: «как подвести чувственное многообразие под чисто-интеллектуальное понятие?» Но искомый Кантом «посредник» между чувственностью и рассудком вовсе не требуется—за ненадобностью. *В намерении слова*—выразить мысль «и лежит та единая интенция слова, как целого, которая и объединяет в конкретности слова лишь отвлеченно различные его стороны—«чувственную» и «логическую»³.

Тенденция к преодолению кантовского субъективизма и концептизма, заложенная в учении Гумбольдта о внутренней форме слова, дает проф. Г. Г. Шпету основание для сопоставления Гумбольдта с Гегелем. «Может быть, меньше всего—гласит вывод проф. Г. Г. Шпета—Гумбольдт был последователем *Гегеля*, но по смелости замысла, по широте захвата мысли, по глубине проникновения он должен быть поставлен рядом именно с Гегелем. Порою прямо кажется, что философия языка Гумбольдта призвана завершить собою систему философии Гегеля» (стр. 33).

В настоящей краткой рецензии—скорее регистрирующей, чем критической—мы не имели возможности коснуться ряда весьма важных вопросов, обсуждаемых в книге проф. Г. Г. Шпета. Они заслуживают специальной статьи. Оставляя подробный разбор и критику воззрений проф. Г. Г. Шпета до специальной работы, которую мы предполагаем дать в ближайшей книжке «Вестника», отметим, что книга проф. Г. Г. Шпета, несомненно, сыграет положительную роль в борьбе с вульгарным языковедческим натурализмом, составляющим один из участков на фронте вульгарного социологического натурализма, с которым—увы!—еще приходится бороться. Также необходимо приветствовать ту решительную борьбу, какую проф. Г. Г. Шпет ведет на всем протяжении своей книги со всеми видами философского субъективизма. «Я отрицаю—заявляет проф. Г. Г. Шпет—

¹ Ср. Густав Шпет. — «Эстетические фрагменты», II, стр. 47.

² Там же

³ Густав Шпет. — «Внутр. форма слова», стр. 50—51.

не только чистый философский субъективизм, по которому объективное определяется субъективным, но и вообще необходимую соотнесенность объекта и субъекта (объекты без субъектов прекрасно могут быть); равным образом, я ни в коем случае не отождествляю субъекта с так называемым «я» (из того, что познающее, мыслящее и проч. «я» есть субъект, не следует, что всякий субъект есть «я»); наконец, я не определяю субъекта, как «единство сознания» (которое и есть единство сознания, а больше ничего, тогда как действительный субъект включает в себя обширную сферу без- и подсознательно)¹. Признание во внутренних формах слова форм *логически* также весьма удачно разрешит множество трудных вопросов, частью снимая их, частью указывая направление, в котором следует искать их разрешения. Констатирование органической наличности логического во всяком, даже последнем, далее неразложимом элементе слова приводит к выводу, что специфичность языкового сознания состоит именно в его логичности. Отпадает пресловутая кантовская проблема синтеза рассудочных категорий и гетерогенных им чувственных созерцаний: логическое понятие, выраженное в слове, и есть подлинный синтез синтезов. Слово необходимо есть *материал* мысли, а мысль необходимо стремится воплотиться в материальном, чувственном организме слова. Наконец, ценным следует признать и историко-философские выводы автора «Внутренней формы слова». Диалектика послекантовского идеализма, выведившая научную мысль из бесплодных границ кантовского концептизма в простор более диалектического и более реалистического учения о слове и об отношении форм слова к формам мысли, к формам поэтическим, весьма поучительно продемонстрирована проф. Г. Г. Шпетом на примере Гумбольдта.

В целом основная задача автора «Внутренней формы слова» — интерпретация философии языка Гумбольдта — выполнена весьма интересно, содержательно и должна оказаться весьма плодотворной для постановки ряда основных проблем логики, лингвистики, поэтики, эстетики и социальной психологии.

Со всем тем книга проф. Г. Г. Шпета изобилует положениями, которые стоят в прямой связи с основными философскими воззрениями автора и с которыми никак нельзя согласиться. Откладывая подробный их анализ до специальной статьи, отметим все же следующее. Весьма удачно критикуя попытки натуралистического генетизма решать посредством гипотез и теорий о происхождении проблемы, которые, по самому смыслу, требуют иных методов и установок, проф. Г. Г. Шпет склоняется, по видимому, к мысли, что *всякое* генетическое объяснение, как такое, есть заблуждение и в качестве такого бесплодно для науки. Более того. Вся книга проф. Г. Г. Шпета, насколько я понял, насквозь пронизана, во всех разделах, во всех анализах, твердым убеждением, что не только *генетические* объяснения *натуралистического* типа в социологии, но и *всякие* объяснения вообще, как такие, натуралистичны и потому несостоя-

¹ Густав Шпет. — «Внутренняя форма слова», стр. 177. Пользуемся случаем и здесь напомнить читателю, что решительная борьба со всеми разновидностями философского субъективизма давно велась и в наши дни ведется представителями *диалектического материализма*. О том, что «объекты без субъектов прекрасно могут быть», говорит вся традиция диалектического материализма от Энгельса до Плеханова и Ленина, не говоря уже о нынешнем дне. Могучий отпор, оказанный Лениным теориям о «необходимой соотнесенности объекта и субъекта», также достаточно известен. Напоминаем об этом в виду того, что проф. Г. Г. Шпет обходит молчанием эти факты.

тельны. В глазах проф. Г. Г. Шпета только те научные задачи и проблемы имеют ценность, которые для их постановки и разрешения не требуют *вообще объяснения*. Иначе говоря, проблематика, допускаемая проф. Г. Г. Шпетом, не выходит из круга *описания, анализа, констатирования* того, что изучаемые объекты дают в целом, в своей объективной конкретности. *Такое сужение научных задач было бы терпимо, если бы в нем можно было бы видеть только личное самоограничение*, если бы оно было оговорено, как выражение *личных* вкусов проф. Г. Г. Шпета, его *личного* выбора и *личных* пристрастий. Никто не в праве помешать проф. Г. Г. Шпету заниматься теми проблемами, которые его интересуют, и никто не станет принуждать его заниматься теми проблемами, которые для него лично представляют меньший интерес. Важно только, чтобы самые эти проблемы действительно существовали, были бы действительно плодотворными и положительными научными проблемами. К сожалению, самоограничение проф. Г. Г. Шпета, его поразительное воздержание (*éloxi*) от *всяких* объяснительных теорий имеют источник вовсе не в личных предпочтениях ученого, но запечатлены всеми признаками *принципиального воззрения*. Упорное уклонение от всяких объяснительных задач вытекает у проф. Г. Г. Шпета из *принципиальной* крайне отрицательного, крайне резко, со всей возможной чувствительностью и остроумием выраженного, отношения ко всякому объяснению, как такому. По собственным словам проф. Г. Г. Шпета, объяснительных теорий надо бояться, как чумы или глупости¹. Во-первых, потому, что это—объяснения. Во-вторых, потому, что это—теории. Проф. Г. Г. Шпет, повидимому, весьма мало ценит *теорию*. Так, по поводу распространенного представления, будто связь повторяющихся сочетаний со значениями есть связь «ассоциативная», проф. Г. Г. Шпет замечает: «Утверждение, будто эта связь есть связь так называемой «ассоциации», по меньшей мере поверхностно,—она просто *теоретично* и, как гипотеза, прикрывает незнание и лень узнать². Я отлично знаю, что фразу эту надо брать в целом контексте, я вовсе не стою за критикуемую здесь ассоциационистскую теорию, я понимаю, наконец, что здесь—лишь тонкий оттенок мысли, но в этом оттенке, думается мне, все же запечатлено такое недоверчивое, я бы сказал даже—презрительное отношение к теории, которое заслуживает самого решительного отпора. Спору нет—гипотеза «прикрывает» незнание, (потому она—и гипотеза), но сказать, как говорит проф. Г. Г. Шпет, что гипотеза *всегда прикрывает лень узнать*, можно только при условии полного отрицания *объяснения*, как научной задачи. *Воздержание от объяснительных задач*, столь упорно проводимое проф. Г. Г. Шпетом, *само есть теория, а именно: теория о ненужности теории!* Здесь—не личное самоограничение, но подлинно «скромность паче гордости». Отстранение объяснительных задач, очевидно, есть вывод из внутреннего Гуссерлем различения *знания* (*Wissenschaft*) и *мнения* (*Doξα*). Вместе с Гуссерлем проф. Г. Г. Шпет—за *знание* против *мнения*. Не стану и тут спорить: «знание» *лучше* «мнения». Было бы очень хорошо, если бы могли только «знать», не составляя ни о чем никаких «мнений». Но вот, что делать, если существует ряд проблем, и притом проблем реальных, фундаментальных, которые опрокидывают эту «чистую» дистинкцию «знания» и «мнения». Что делать, если существуют такие «знания», которые

¹ См. «Эстетические фрагменты», II, стр. 22. Ср. еще III, стр. 42.

² «Эстетические фрагменты», II, стр. 24.

в борьбе «мнений» рождаются и в этой же борьбе почерпают критерий своей достоверности? Повидимому, проф. Г. Г. Шпет думает, что всякое «мнение» — всегда метафизика, психологизм и тому подобные скверные вещи. На это мы должны возразить со всей решительностью: *объяснение* — такая же *положительная* задача науки, как и *анализ, описание, констатирование* и т. д. Объяснение вовсе не должно быть непременно психологическим или метафизическим¹. Если же проф. Г. Г. Шпет боится, что, ступив на путь объяснения, он будет вынужден с незапятнанных высот «знания» снизиться до малодостоверного мнения, то я напомню ему его же собственные слова, по другому поводу и в другом месте сказанные: «Но философ не боится ошибок, ибо знает, что это — *его* ошибки, *его* временные неудачи, не зависящие от самой истины; скептик боится их, потому что уверен, будто сама истина зависит от его познавательных дарований, и он предпочитает вовсе воздержаться от суждений». Так как профессор Г. Г. Шпет очень делек от скептицизма, то остается признать, что его «воздержание» от объяснительных исследований и теорий «прикрывает», конечно, не «лень и нежелание узнать», но весьма большую «гносеологическую» гордость..

В заключение — два слова о *стиле* книги. Характер *изложения* в книге проф. Г. Г. Шпета в известной мере определяется задачами интерпретации. Отсюда — некоторые, самим автором возвешенные и оговоренные, повторения, возвращения — в новой связи — к уже изложенным тезисам. По заявлению самого автора, книга его рассчитана на внимание специалистов, а не учащихся или самоучек. Со всем тем изложение — не трудное, формулировки местами — чрезвычайно выразительны. В сравнении с другими книгами проф. Г. Г. Шпета «Внутренняя форма слова» лишена присущей этому автору остроты стиля. Может быть, общий тон интерпретации тому причиной, а может быть «мягкость» стиля отражает невольное подчинение автора стилевому обаянию самого Гумбольдта. Как писатель, проф. Г. Г. Шпет представляется мне натурой артистической, перемчивой, впечатлительной. Так, первая часть «Эстетических фрагментов», на мое впечатление, местами отражает стиль «Кризисов» Андрея Белого. Высказываю это отнюдь не в виде упрека и не в качестве безапелляционной истины, но просто, как личное впечатление, не как догадку даже, но скорее как вопрос.

Издана книга хорошо, корректура тщательная, цена — доступная.

В. Асмус.

¹ Знаменательно, что взгляд проф. Г. Г. Шпета на объяснение не находит поддержки даже среди тех современных русских философов, которые разделяют вместе с ним высокую оценку феноменологии. Так, А. Ф. Лосев, в предисловии к своей «Философии имени», не называя проф. Г. Г. Шпета по имени, но имея в виду, очевидно, именно его воззрения, резко критикует воздержание «русской феноменологической школы» от задач объяснения («Философия имени», стр. 7—8).